

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ! ПРОЛЕТАРЫ ВСІХ КРАЇН, ЗЛУЧАЙТЕСЯ! PROLETARNOJ!
HAMAJI ĞINON, JAK ŞAVED! BUTYN ÖLKƏLƏRİN PROLETARLARƏ, BİRLƏŞİNİZ! - ღიონსაშენსაჲ რაღორ ხერსარსენი შიაცხენი! - ჰაროლტარებო ჯველა ქვეყნისა, შეერთდით!

Цена номера — 10 коп.

ГОД ИЗДАНИЯ 19-й

ИЗВЕСТИЯ

Центрального Исполнительного Комитета
СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
И
Всероссийского Центральн. Исполнительного Комитета
СОВЕТОВ
Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов

№ 123 (5676)

ПОНЕДЕЛЬНИК

27

М А Я

1935 г.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕХОВЕ

К ПРАЗДНОВАНИЮ 75-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Я встретился с Чеховым на Урале, во Всеволод-Вильвенском имении Саввы Морозова, куда Чехов приехал на несколько дней вместе с хозяином имения в июне месяце 1902 года. Цель его приезда осталась для меня и по сей день неизвестной. Но, каковы бы ни были намерения Чехова, во всяком случае результат своего пребывания в имении Морозова он вряд ли остался доволен.

«Жизнь здесь серая, неинтересная, а если изобразить ее в песне, то слишком тяжела», — так резюмировал он в одном из писем свое впечатление об этой поездке.

На другой же день по приезде Морозов уехал осматривать свои обширные владения, оставив Чехова вдвоем со мной в огромном «господском» доме, окруженный большим березовым парком. Перед домом протекала истинная ленивая речка Вильва. Чехов вел себя добродушным уединен: он почти не выходил за пределы садовой ограды и ни с кем не знакомился, да и знакомиться было не с кем: обитатели дома, «приближенные» Морозова, уехали вместе с ним, заводской поселок отстал от усадьбы не меньше, чем на километр, откуда по

утрам доносился колокольный звон, а ночами — пьяная гармоника.

Чехову все время нездоровилось, он хмурился и часто кашлял. Днем гулял по саду, писал кому-то письма, а чаще уходил вместе со мной в речку окуней. По вечерам я читал ему вслух Апухтина. Иногда, наскучив молчанием, Чехов

вступал со мной в разговор. Собеседник я был плохой, потому, говорил, в сущности, один Чехов и только для себя. Это были его «мысли вслух». Для меня — молодого студента — каждое его слово было откровением. Я слушал его внимательно, чтобы потом у себя в комнате сейчас же записать слышанное.

□ □

С утра до вечера сидели мы под глинистым откосом, у темного омута и с увлечением ловили окуней.

— Чудесное занятие, — говорил Чехов, поплаывая на чернышке. — Воле тихого помещика. И самому приятно, и для других полезно. А главное — думать не надо. Хорошо!

Он с удовольствием грелся на солнце, снимал пиджак и галстук.

Рыбак он был превосходный, его улов всегда был больше, чем у меня, хотя мы сидели рядом.

— До чего мы, русские, ленивый народ, — добродушно философствовал он, сладко потягиваясь. — Даже природу разрали ленью. Вы подумайте только на эту реку, до чего же ей лень двигаться! Вот она какие колена загибает, а все от лени. И вся наша пресловутая «психология», вся эта догматика, тоже ведь от этого. Лени работать, ну, вот и выдумываем.

Солнце размаривало и клонило в дремоту. Тишина была такая мягкая и добрая, что никакой пушкой ее не прошибешь. Вода тепло блеснула, от этого блеска приятно кружились голова, а в глазах двоились поплавки.

Чехов сладко дремал, свесив голову на длинной шее, как убитая утка. В этих случаях его удочки сторожила рыбка, похожая на таксу сучка, бог весть откуда завявшая. Подобострастно облизываясь, она внимательно следила за поплавками, а когда начинала клевать, вскакивала, махала хвостом и визгливо лаяла. За это Чехов кормил ее пойманной рыбой, которую она, к нашему удивлению, пожирала живьем.

Однажды, глядя, как она, давись и жадничая, заглатывала окуня, который был ее хвостом по морю. Чехов сказал с брезгливостью:

— Совсем как наша критика!

□ □

Вечером мы вдвоем с Чеховым сидели за чаем на террасе. Ночь была зловонная, душная. Темнота так плотно напирала с трех сторон на террасу, точно хотела вывалить стекла и захлестнуть испуганно гудящую десятилитровую лампу. Под зеленым абажуром ме-

тались бабочки и, обжегшись, умирали на кленке стола, уставленного чайной посудой, которая уродливо отражалась в начищенном медном самоваре.

Березы в саду были полны беспокойства — они то стояли совсем тихо, то вдруг без причины начинали дрожать всей листвою с верху и до самого низу.

Чехов был в этот вечер как-то особенно грустен и доверчив. Зажав между костлявыми коленами свои длинные руки, он сидел, согнувшись на стуле, против раскрытой двери террасы и, взглядываясь в темноту сада, точно беседуя с кем-то невидимым, что там находилось, медленно говорил:

— Прежде всего, друзья мои, не надо лжи... Искусство тем особенно и хорошо, что в нем нельзя лгать... Можно лгать в любви, в политике, в медицине, можно обмануть людей и самого господина бога — были и такие случаи, — но в искусстве обмануть нельзя...

Он на минуту замолчал, как бы ожидая возражений своего невидимого собеседника, и, не дожидаясь, продолжал:

— Вот меня часто упрекают, даже Толстой упрекал, что я пишу о мелочах, что нет у меня положительных героев: революционеров, Александров Македонских или хотя бы, как у Лескова, просто честных исправников. А где их взять? Я бы и ра!

Он грустно усмехнулся:

— Жизнь у нас провинциальная, города немощные, деревни бедные, народ пошленный. Все мы в молодости восторженно цуричаем, как воробьи на дерне, а к сорока годам — уже

старички и начинаем думать о смерти. Каким мы героям!

Он посмотрел на меня через плечо, опять согнулся и уставился немигающими глазами в темноту.

— Вот вы говорите, что плакали на моих песнях. Да и не вы одни. А ведь я не для этого их написал, это их Алексеев¹⁾ сделал такими плаксивыми. Я хотел другое. Я хотел только честно и открыто сказать людям: посмотрите на себя, посмотрите, как вы плохо и скудно живете. Самое главное, чтобы люди это поняли, а когда это поймут, они непременно создадут себе другое, лучшую жизнь. Я ее не увижу, но я знаю, она будет совсем иной, не похожая на ту, что есть. А пока ее нет, я опять и опять буду говорить людям: поймите же, как вы плохо и скудно живете. Над чем же тут плакать?

— А те, которые уже это поняли? — повторил он мой вопрос и, вставая со стула, грустно закончил: — Ну, эти и без меня дорогу найдут... Пойдемте спать... Гроза будет...

Чтобы не оставлять Чехова одного в пустом доме, я спал теперь в соседней с ним комнате. В доме было душно, пахло масляной краской, пилили комары. Оно не зная было открыты — болясь воров.

Я беспокоился о Чехове. Сквозь тонкую перегородку мне был ясно слышен его кашель. Так длительно и напряженно он никогда еще не кашлял.

Несколько раз он вставал с кровати, — мне было слышно, как гудели пружины матраца, ходил по комнате, что-то пил из стакана, снова ложился, кашлял и снова вставал.

Под конец я все-таки уснул.

Меня разбудило ощущение близкой опасности. Я открыл глаза. Комната была полна белым ослепительным сиянием, которое мгновенно исчезло, чтобы через секунду вновь появиться. Вокруг дома ширпотоповала буря. Озверевшие, серые, клубящиеся тучи лезли друг на друга, изрыгали огонь и грохот. Березы в саду, согнувшись, выли от боли, пораженные косым дождем, который от молнии казался стеклянными. От вихря и грома дом так сильно дро-

¹⁾ К. С. Станиславский.

жал, что за взвизгившими обоями осыпалась штукатурка.

И вдруг сквозь грохот разрушавшегося неба я увидел протяженный стон. Ухо, приложенное к стене, за которой был Чехов, подтвердило мою догадку. Стоп повторился, мучительный, почти нечеловеческий, обрывающийся ното рытой, ното рыдающим. Мне показалось, что Чехов умирает и что если он умрет, то это по моей вине. Себя не помня, как был, в одной рубашке и босиком, я бросился через столовую к комнате Чехова. У дверей я еще раз прислушался, лязгая зубами.

Как это часто бывает в минуты ее наименьшего напряжения, гроза вдруг на мгновение остановилась. В доме стало тихо и страшно. И в этой тишине явственно были слышны сдавленные стоны, кашель и какое-то бульканье.

Я распахнул дверь и попотом окликнул Чехова:

— Антон Павлович?

На тумбочке у кровати доторала опылившая свеча. Чехов лежал на боку, среди взбитых простынь, судорожно сгорбившись и вытянув за край кровати длинную с кашлем ногу. Все его тело согоргалось от кашля. И от каждого толчка из его широко открытого рта в синюю амалированную полевальницу, как жидкость из опрокинутой вертикально бутылки, выхаркивалась кровь.

За шумом начавшейся опять грозы Чехов меня не заметил. Я еще раз назвал его по имени.

Чехов отгнал меня назидать на подушки и, отбывая платом окровавленные усы и бороду, медленно в темноте нацупывая меня взглядом.

И тут я в желтом, стеганном свете отара впервые увидел его глаза без пелены: они были большие и беспомощные, как у ребенка, с желтоватыми от желчи белками, полернутые слезами.

— Он тихо, с трудом проговорил:

— Я мешаю... вам спать... простите... голубчик...

Ослепительный взмах за окном, и сейчас же за ним страшный удар по железной крыше заглушил его слова. Я видел только, как под слышавшимся от крови усами беззвучно шевелились его губы.

